

В 2019 году лауреатами Патриаршей литературной премии стали трое писателей – Михаил Тарковский, Дмитрий Володихин и Александр Стрижёв.

О себе, о своих ощущениях после получения премии Михаил Тарковский рассказывает Сергею Арутюнову.

– Михаил Александрович, каждому человеку нужна правда о себе и мире, и каждый доискивается её по-своему – кому-то и в столицах неплохо, а кто-то едет из них прочь. Что потянуло вас некогда из Москвы, страх потерять себя или желание – найти?

– Желание найти, конечно же. Но это потом выяснилось, а сначала было желание быть с тем, что любишь, пусть и за глаза. Заочная любовь к Сибири, которая несказанно усилилась после первой школьной вылазки на Енисей, когда работал в противочумной экспедиции в Туве (Монгун-Тайгинский район). Школьником много читал Федосеева, Астафьева, Бианки. Стоял на весеннем разъезде, и когда мимо проносился поезд, сосало под ложечкой от слов «Москва-Благовещенск». Физическая карта СССР висела над кроватью, и я часами по ней «лазил». Да и лазаю до сих пор. С азартом узнавал новое место и сравнивал его с образом, представленным по карте. Коричневые высокогорья представлялись и в жизни чем-то буро-голым, рыжим, картинным. Сибирь же оказалась намного зеленей, буйней, лесистей.

– Если нашли вы в Сибири свою правду, что такого узнали о себе, людях, природе из того, что, проживая в больших городах, точно пропустили бы, не заметили?

– Наверное, главная правда – стать сибиряком, а потом взглянуть его глазами на всю Россию. Живя когда-то в Москве, я невольно напытился гордыней, что здесь – самый эталон, а всё остальное – дикое место, где живёт невнятно кто. Так примерно европейцы на Москву смотрят. Никогда не забуду слова учёного одного, приехавшего на совещание в сибирский городок. Он восхищённо воскликнул, мол, думал-то, в запендрю едем, «а здесь иномарки». Ино. Марки. Так и сказал (провинциальнейше)! Ой, Господи... Для меня важнейшим перерождением было – проститься с этой гордыней.

В Сибири и на Дальнем Востоке много больших городов, которые по значимости и столичности превосходят их «аналоги» из западной России. Например, Владивосток, в котором 600 тысяч населения, даст фору любому «миллионнику» по образу и по энергии. Чтобы чувствовать Сибирь, неважно, где жить – в большом городе или на Анабарском плато.

Когда оказался в таёжной глубине, люди открылись простые, каждый со своей заповедной правдой, с языком несусветным, с судьбой и тяжелейшей, и сказочной, и каждый добавлял строку в образ Батюшки-Анисея, камешек в его берег. Было, конечно, и восхищение природой, но на первое место встали люди, образ трудовой промысловой Сибири, к которому приобщиться за счастье почёл.

– Каков сегодня русский человек, сохранился ли его вид не только генетически, но нравственно, ментально, или только что, в XX веке, нами пережита сокрушительная катастрофа, после которой не известно, будем ли вообще, и как именно?

– Каков русский человек сегодня, это спустя годы прояснится. Что мы можем сейчас сказать? Только одно: что он разный – от сокровеннейших патриотов и подвижников до обуянных рыночностью, измученных выживанием и забывших, как быть верными. Каких больше? Вроде бы вторых. Но это только с виду – а копни заварухой, и всё наносное сдует, и своё древнее, кровное восстанет. Так что задача наших недругов – всё сделать по-тихой, чтоб мы и не заметили, как нерусями стали.

– Природа – источник вдохновения, говорите вы, не соглашаясь с темой одного европейского собрания, объявившего её последним утешением секуляризованного человека. Тютчев говорил про неё – «сфинкс», тургеневский Базаров – «мастерская», советские позитивисты вообще сочли её сырьём, лишённым какого бы то ни было духа, которое следует выбирать себе на благо, пока оно не исчезнет. Что, помимо источника вдохновения, природа – для вас?

– Природа – это могучий образ красоты. Один из её ликов – горная тайга. У меня, помню, от самого этого словосочетания мураши побежали. Потом и степь полюбил, и даже кусты-тальники... Для меня природа, пожалуй, в двух ипостасях, промысловая, где ты как хозяин в стайке, где всё в традиции, в труде, в знании, и монастырская, когда ты, как монах в келье – на ладони у Бога. Где озарённая одиночеством душа и себя, и мир познаёт.

Ну, а источник вдохновения природа – неоспоримо. И восхищения. И поддержки. Хотя при этом природа без человека – во всех смыслах пустое место. Да и на земном шаре бесчисленное количество красивых побережий, гор и рек. И что дальше?

– В Красноярске сопки заглядывают прямо в город, словно наблюдают, как люди живут. Рано желтеют, покрываются снегами, поздней весной едва зеленеют... и всё повторяется, повторяется – бесконечно... Должно ли, хорошо ли каждому из нас каждый день прикидывать взглядом к деревьям, травам, облакам, чтобы выверять себя по самой древней из шкал? Что делать – горожанину, объётому со всех сторон жалкой рукотворной средой? Где его родина, в чём она?

– Точно сказали о Красноярске! Действительно, отрог Восточного Саяна прямо в глаза смотрит, о дальних хребтах говорит, о перевале Федосеева. Но многие мои друзья живут в Москве, и там сият-ся отстоять рубежи нашего с вами Русского мира, и на фоне этого моё бытование в Енисейской вселенной выглядит, как детский сад и роскошь. А те, кто в Донбассе и Луганске? А писатели, которые туда ездят? Пока я тут по Байкалам шарюся...

Вообще тысячи людей любят город – особенно женщины, для них это – спасительное, защитное. Однажды в поезде встретил женщину, переехавшую из Архангельской области в Москву. С каким восхищением она говорила о большом городе! Почти так же, как я о горной тайге. Женщины город обожают, и часто это не стремление к театрам, а просто нелюбовь и даже ненависть к сельскому быту. Мужской пол более тяготеет городской пробочной круговертью, и многие стремятся на природу, но, напившись ею за отпуск, возвращаются в город. Кто совсем не может – уезжает. Дмитрий Володихин, мой собрат по Патриаршей награде, всю жизнь живёт в Москве «меж библиотекой и храмом» и ощущает себя вполне на месте. Так что дело не в точке проживания, а в твоём внутреннем наполнении. А представьте: вся Москва решит поехать в тайгу. Что от неё останется?

Меня тоже всегда тяготило городское сожительство – вроде толпы, а будто ничем не объединены, никто не отвечает за город, хотел – плюнул на мостовую – будто она ничья. У себя дома-то не плюёт. Значит, не дом? А ведь раньше не так было.

Восхитительно прикинуть к стволу лиственни, испить из горного ключа или смотреть на облака, ползущие по склону, поросшему стройным кедром. Это свято, это не обсуждается... Это Божья прибавка ко всему прекрасному, что есть в жизни. Писатели-сибиряки тончайше чувствуют эту особую святость тайги для художника. Это так здорово. Но Родина – это и Волга, и Елец, и Орёл, и Севастополь, откуда я только что прилетел. Поэтому любви к Сибири и Дальнему Востоку я никогда не противопоставлю любовь к остальной России. Хотя и сотни раз ловил себя на таких попытках. И ставил на место.

– Естественно ли для вас поэтическое состояние, когда любое впечатление необоримо облекается в форму первой, второй, третьей строки? Когда вы наедине с охотничьим промыслом, ловец ли вы – слов? И что составляет для вас более желанный результат такой внутренней охоты – сложившийся мгновенно сюжет, поворот его или уже готовая строка, почти не нуждающаяся в дальнейшей обработке?

– Такое поэтическое состояние – это вдохновение. Я его испытывал по юности, когда предвкушение вечера, золотой свет керосиновой лампы и треск дровишек в печи вызывали столь небывалой подъём, что само исполнение стихотворения оказывалось второстепенным. Бывало

поутру на него и смотреть-то тошно было. Давным-давно ничего подобного не переживал. Просто тужусь. Хотя, бывает, засвербит нечто знакомое в подступе к новой книге, когда брезжит нечто, что Пушкин звал замыслом, над которым обольёшься слезами. Ещё не знаешь... Не придумал, а душу сводит. Как перед дорогой. Или охотой.

Я давно перешёл на внутреннюю охоту, потому что промысел в тайге – отдельное серьёзнейшее дело, которое не совместишь с многомесячным сиденьем за столом. Был я ловцом слов на промысле, но это были стихотворные слова. Когда началась подготовка к добыче прозы, писал на охоте поэтические дневники, потому что нельзя там без слова, память заест: внутреннее душевное варево сильнейшее, когда один в тайге. Потом понял, что в тайге не напишешь прозы – в избушке будто нет стен – настолько пронзён ты лучами тайги. Да и просто: собаки залаяли, а ты не пойдёшь? Нет. Всему своё место. Так что кулёмки на повести ставлю прямо в избе.

Добытая с налёту строка или образ-задумка повести – это всегда как самородок. Те не лотком мыть, суставы знобить... Но чаще всё-таки лотком.

– Доверяете ли вы внутренне тем, кто чрезвычайно обилен в словах, каждый год способен и на роман, и на сборник стихотворений, или такие скорые на письмо люди чего-то не понимают в письме, слишком спешат к нему, забывая свериться с барометром совести, смысла?

– Про поэтов не скажу – может, тут и возможен обильный родник. А вот строчителям прозы не верю. Совершенную по языку книгу технически невозможно написать быстро. Не говоря об остальном наполнении. В произведении надо находиться, ведь именно за выслугу месяцев сочинитель награждается естественным поведением героев, выверенными пропорциями смыслов. Удивляет другое: как им не тошно писать без отклика строк? Ведь крайне сложно найти интонацию новой вещи, почувствовать этот магнитный отзыв породы, без которого не двинешься с места. На это, бывает, недели нужны. Когда поймёшь, что пошёл, наконец, захват руды. Туго откликнулась страница. И настало счастье, которому каждый раз радуешься, как незаслуженному. Ещё не верю, когда сразу «роман» публикуют, не выступив с рассказами. Так не бывает. Не верю, когда выпустят модную книгу, а потом ежегодно догасают в обязательном уже конвейере. У истинного художника только рост. Так что это ещё один тест на вшивость.

– Если бы вас попросили самому писать аннотацию к «Полёту совы» или «Тойоте Кресте», какими словами вы бы их описали? «Михаил Тарковский» – кто он для людей, что, если в двух словах, говорит? По преимуществу, он никак не безучастный наблюдатель, но – кручинится или обнадеживает, стыдит или благовестит?

– Кручинится и обнадеживает. «Полёт совы»: повесть о том, как пронзённый болью об Отечестве молодой учитель, ломая дрова, обретает истину. «Тойота-креста»: поэма о русской душе на кресте меж двух Океанов, где накрест – Транссиб с Енисеем.

– Ещё двадцать пять, по меньшей мере, лет писательской работы ожидают вас. Хорошо бы и сорок, но – что приходит вам на ум после получения Патриаршей литературной премии, высшего признания ваших трудов Русской Православной Церковью? Какие планы вспыхнули в вас после того, как вы сошли со сцены Зала церковных соборов? Или на душе всё ещё неспокойно, слишком радостно для разметки дальнейшего бытия?

– Тут как Господь Бог отмерит... Беспокойства и беззаботной радости нет, конечно. Есть гораздо большее – ощущение, что Бог существует. И благодарность. А планы не вспыхнули – усилились, утвердились, что ли. И на душе как-то... увесисто. А вообще неправильно, если премию получил, то на тебе – творческое открытие, рывок. А если б не дали?

– С каким бы напутствием вы бы обратились к молодому поколению словесников? Выстроенные для них сборно-отборочные пункты на пути в «Большую Литературу» – образца левацкого; распорядители литературного процесса ищут в них коммерческой наглости, «берущей города», прививают им отзывчивость к мерзости. Единицы понимают, что их ведут в тупик. С чего им начать искать себя в слове?

– Начать с того, что забыть всю современную литературу, в том числе мою и моих товарищей (простят для дела). И с такой безоглядностью погрузиться в русское многовековое наследие, чтобы церковнославянский шрифт ночами снился, а сердце стучало в ритме «Слова о полку Игореве». Чтобы Пушкин под подушкой лежал и затекал в расслабленную душу, чтоб она, освобождённая от дневного гнёта, втягивала свободно его завет, чтобы слух отточился до звона, и коробило от малейшей дурновкусинки, чтоб чтиво из «Читай-города» вмиг стало водянистым, одинаковым, бессильно лепечущем на языке суетного мира сего.

Никогда не писать на языке мира сего – только на языке Гоголя, Толстого, Бунина, Шмелёва, Астафьева, Шипова (ибо он там). Хотел сказать – Достоевского, но он столь непостижим, что его интонацию невозможно воспроизвести естественно. Сместить норму-эталон в девятнадцатый век. Использовать всю красоту и насыщенность русского языка. Ощутить жизнь и историю каждого слова. Стоять по горло в России. Найти в окружающей жизни зверино родной угол и силой любви воспеть и его, и своё же восхищение, а потом... и жизни не пройдёт, как логово это разрастётся до России от Океана до Океана.

Я споткнулся о прорву начал модных книг – у них у всех рыночная пошлянка. И она выдаёт! Помните «Портрет» Гоголя: попадание в моду

опасно, поэтому ценится, наоборот, самостоятельность, полное спокойствие победителя. Можно долго полемизировать о ветвях современной литературы, составлять перечни признаков русскости, искать аргументы, объяснять, чем корневая и центровая русская литература отличается от рыночной и русскоязычной, и слышать контраргументы. Но есть в русской литературе один довод, аргумент и приговор, безотказный и безоткатный: благородство интонации. Всё.

Напутствие... Знаете, когда я проводил урок русской литературы в школе моего любимого города Бодайбо на реке Витим, парнишка спросил под звонок: «Что бы Вы хотели сказать нам в напутствие?» От этих слов я испытал честное замешательство, ведь сказать надо было что-то очень важное. И так, чтобы детишкам нудно не стало от правильности и известности слов. Но я всё равно начал говорить, что думаю... О том, чтоб дети увидели в окружающем с детства мире прекрасное, что если и затянет их ветер смены места, то чтоб так же и вернул. И главное, говорю: «Любите эту (ищу слово)... прекрасную, (ищу слово)... многострадальную...» Ищу очень важное слово и... мешкаю... мешкаю... и учительница идёт на помощь: «И непобедимую!»...» и непобедимую землю!»

Так вот в школе номер один города Бодайбо мы вместе нашли слова, которые я и теперь говорю, когда просят наставить: любите Россию, нашу Родину – самую прекрасную, многострадальную и непобедимую. Аминь.